

Никто точно не знал — за что, но все знали, что власти из обкома разогнали группу артистов, вознамерившихся было создать свой театр «Ленинград-65» на базе Ленинградской областной филармонии. Прихлопнули. Наше счастье, что нашлись в областной филармонии администраторы, устроившие нам — мне и моей жене Люде — чёс.

Дело это было лихое и опасное. Играли мы по провинции, рисковали: а вдруг по стуку заметут нашего администратора? Ведь он брал с директоров клубов и руководителей прочих мест проведения концертов «чёрным налом». Тогда говорили: «на лапу». Гастроли по Ленинградской, Новгородской или Псковской области давали приличный заработок, зато в далёких поездках — мы обогащались.

Зимой 1964-го мы поехали на гастроли не куда-нибудь, а в самое Заполярье — в Коми АССР. Поездка обещалась сверхприбыльная. В памяти всплывали названия: Диксон, Печора, Нарьян-Мар, Ухта, Инта, Воркута...

Прилетели. В Воркуте — 60 градусов ниже нуля. Сначала даже мороза не ощущаешь, но если плюнешь, например, на улице, слышен звон — замерзает плевок на лету. А если откроешь форточку в номере гостиницы — мгновенно вырастает на уровне форточки ледяная труба в полметра — замерзает воздух. Мы жили в гостиницах, где стены покрывала ледяная корка, а вода в рукомойниках замерзала через минуту после того, как её туда наливали.

Работали как угорелые — это же был настоящий чёс! Играли по три-четыре концерта в день, однажды умудрились дать шесть выступлений. Мы перемещались в «газиках», чьи капоты моторов от мороза защищали толстенные стёганные чехлы на вате. Просыпались утром — темнота, днём — темно, ночь — она и есть ночь. Снег завалил гостиницу до второго этажа, окна залепило снегом до весны. На какие-то «точки» мы летали на вертолётах или ездили на собаках. Мы ехали по мёрзлой пустыне, но... Но! Путь наш освещало северное сияние! И это окупало всё.

А это был 1964-й — «год хрущёвского голода». Старики помнят: пустые прилавки магазинов, только хлеб и соль, да ещё болгарские банки с кабачковой икрой. Самое большое наше гастрольное приобретение — добытые где-то (по благу, разумеется) десятки банок со сгущённым молоком, а у нас четырёхлетний сын в Ленинграде.

Летим, бывало, на вертолёте. Смотрим в иллюминаторы: пустыня, как простыня, и лишь где-то у горизонта — кромка леса. Летим полчаса, час. Пейзаж внизу не меняется. И вдруг я вижу на белом снегу квадратики. Аккуратно стоят какие-то одинаковые строения.

— Что это? — кричу я пилоту.

— Зона! — кричит мне в ответ пилот.

— Там что... сидят?

— Сидели до недавнего...

Прилетаем на место. Говорили, что будем выступать в клубе. Это и есть бывший клуб бывшей колонии. Зрители в зале — в платках и тулупах, мы на сцене — в концертных нарядах: костюмчики, галстучки, а наши артистки — их трое — в лёгких платьях.

— Искусство требует жертв! — говорю я Люде, моей партнёрше во многих номерах.

— Но жертвам сначала нужно хотя бы оттаять.

Спасали коньяк и шоколад. Постоишь пяток минут на сцене, поговоришь, и ногу от пола не оторвёшь — примёрзла подошва...

Им в зале тепло к концу концерта — от дыхания отогрелось помещение, они же, зрители, в валенках, в платках. Они просят: «Ещё!», им домой через пургу идти неохота, а ты простоял два часа на сцене, ооченели ноги, по спине мурашки... Но что поделаешь? «Искусство принадлежит народу!» — это над занавесом написано в каждом почти клубе. Наш администратор действительно прочёсывал Республику Коми, мы выступали в больницах и школах, а ещё — на шахтах, перед сменами, шедшими в забой.

Вспомнилось: у нас с Людмилой был отработанный концертный репертуар и в него, как мы знали по опыту, входил «убойный» номер-композиция по пьесе Николая Погодина «Аристократы». Пьеса о 1930-х годах, о Беломорканале, о строивших канал заключённых и стороживших их чекистах. Люда играла бывшую воровку, заключённую Соньку, я — чекиста Громова, а сменив головной убор — уголовного Костю Капитана.

Пьеса Николая Погодина подлая, хотя тогда она нам такой не казалась, но ловко закрученная и диалоги в ней сочные. «Аристократы» у нас в репертуаре — «абсолютный верняк».

Играем, как всегда, ярко, эстрадно, и... ждём реакции. Но в этот раз мы не слышим зала. Каждый актёр это знает: ты всё равно чувствуешь — живёт зал или нет. Но в тот раз — никаких смешков, никакой реакции на наши хохмочки, на хлёсткие реплики. Играем как в яму... Кое-как доиграли одну сцену, протянули вторую и... свернули выступление. Провал. Ни привычных аплодисментов, ни полагавшегося всегда после концерта «спасибо».

Пришли в гостиницу расстроенные, и только там организаторы концерта поведали нам, что мы играли... перед зэками.

— Вы бы ещё перед ними инсценировку Уголовного кодекса сыграли, — мрачно комментировал наше выступление какой-то начальник с шахты.

— А вы бы сказали, что они — заключённые.

— А кто тут не заключённый? Только птички...

* * *

Много лет спустя о зоне, о зэках я читал по радио сотни и сотни программ. В их текстах и слово «зона», и слово «зэк» писались без кавычек — обычные слова в русском языке XX века.

И не абстракцией звучали в моих ушах и кровоточащая песня Высоцкого, где «протопы ты мне баньку по-белому» рвёт душу, песня, где ты уже себя чувствуешь загнанным волком, рвущимся «на флажки». Нет, не абстракцией звучит во мне философская баллада Юза Алешковского «Окурочек». И Солженицын, и Шаламов для меня — не литература, хотя и здорово написано. Для меня это всё — свидетельства о том, что я не пережил сам, но всегда глубоко чувствую.

* * *

Нас приглашали в гости. Там так заведено: приехавших артистов кто-то приглашал не в ресторан, хотя рестораны там были и приличные, а к себе «на стакан чая». Естественно, угощали не чаем, а спиртом, в Заполярье он доставлялся беспрепятственно и в избытке.

— Водка, даже самая-самая «Столичная», у нас замерзает. Спирт — никогда. Его держат как лекарство от обморожения в разных помещениях на работе, дома... Потому и спиваемся помаленьку.

Квартиры старожилов, приглашавших нас, поражали обустроенностью и... однообразием: везде одна и та же мебель, те же столы и стулья, и главенствующее место в квартирах занимали стеллажи с книгами. Книги тогда стоили дёшево, северные зарплаты — высокие, домашние библиотеки — не «вложение капитала», это — роскошь, которую могли себе позволить многие. И позволяли. Поэтому о литературе или истории лучше было не спорить — всегда среди хозяев и гостей находились люди, намного более образованные и осведомлённые, чем ты. То же самое поразило нас много лет спустя на «Свободе». Там люди из числа старых

эмигрантов знали об истинном положении дел в СССР намного больше, чем мы, ещё недавно жившие внутри страны.

Каждый человек нёс с собой свою лагерную историю. Кто за что сидел и сколько: кто «за идеологию» — рассказал на вечеринке анекдот, кто за воровство — украл колесо от машины, а кто — за любовь. За любовь...

Мы ехали ужинать. Собаки неслись ровно, как машина; дорога, если это была дорога, ровная и наст крепкий. Только в таких условиях, где солнце не заходит или не восходит, можно через темноту три часа мчаться невесть куда. Сказали: «Ужинать! Поехали!» А нам что? Укутались до щёлок на глазах — и понеслись!

Вдали, почти у горизонта — огонь.

— Нас ждут, маяк зажгли. Теперь пятнадцать минут и мы — там!

Возницу выделенной нам собачьей упряжки, совсем юного мальчонку, звали Юлька. Я сказал ему, что мы — тёзки. Что меня зовут Юлианом.

— А я не Юлиан. Мы не тёзки. Я с тобой не могу быть тёзкой. Я — Юлиус.

— Всё равно — тёзки.

— С тобой — нет.

— Почему?

— Потому, что я — литовец. А ты не литовец. Ты — оккупант!

Меня заело. Пацан — от горшка два вершка — а спорит, даже дерзит, обзывается. Я не пытался его переубеждать, хотя сказал, что я ни при чём и в его Литве я никогда не был.

— Нет! — И замолчал.

Молчал и позже во всех поездках. Правда, однажды заговорил, да и то потому, что случился у него конфуз: сани чуть не перевернулись, мы зачерпнули снега едва не выше головы.

Он выправил сани, оправдывался:

— Молитву не сказал, а тут мостик тот самый... вот и случилось.

— Какой мостик?

— А еврейский.

— Почему «еврейский»?

— А тут произошла история. Давно, ещё до нас... Может быть, ещё при Берии, а может быть, и при Ежове... Раньше здесь кругом находилась зона. И были в хозяйстве на зоне машины, полуторки. Один зэк — еврей — шоферил в зоне. А дорога, видишь, она же скособочивается как раз перед мостом. И уклон. Так все это место знают. И тот еврей тоже знал. Но наступил у него последний день перед выходом на волю. Он свой срок отбарабанил, он как помешанный стал — воля же! Все вещи собраны, что надо — сдано в каптёрку, бумаги подписаны. А была суббота, и попросили его сделать последний рейс. Он им там и говорит:

«Вообще я — еврей, по субботам не работаю. Я же теперь — вольняшка. Но ради такой радости Бог меня простит. Поеду!» Он и сделал рейс, да на радостях то ли рулём крутанул, то ли и вправду Бог ему того... Короче, полуторка — в кювет... дорога, видел же, скособочивается... Машина носом так и воткнулась в бугорок. Посмотрели — чуток примял он бампер и правое переднее крыло. Чуток совсем. А бригадир: «Ну, всё! — говорит. — Такое жидовское твоё счастье. Кум узнает, обходной разорвёт, и загремишь ты в зону — по новой». Ну, пошутил бригадир тот, ляпнул, одним словом. Ну, а этот еврей прошёл под мостик, вроде бы по малой нужде, да и повесился там на хер собачий. Вот такая судьба... Последний день — и на тебе! — мостик. Так с тех пор шофера молитву еврейскую говорят. Покойник их и пропускает. А я вот забыл проговорить...

— Что за молитва?

— А тебе зачем? Шоферить здесь не будешь, ты — приезжий. Не то, что мы...

Что у него за история? Явно он родился не здесь, в говоре у него акцент, выходит, что его привезли сюда на поселение родители. Видимо, он не ходит в школу, так как школа далеко отсюда, а он бегло говорит по-русски, хотя и с акцентом. Кто его родители? Что за судьба ждёт его?

Я уже знал, что он — сирота и живёт своим хозяйством, без помощи взрослых, что он работал по найму где попало, скопил деньги и купил на них сани и упряжку. Я как-то спросил его:

— А не хотел бы ты уехать отсюда?

— Куда?

— Ну, в Россию... Или к твоим... на родину — в Литву.

— Моих в Литве нет. Все здесь похоронены. Да и не поеду я никуда, там у вас грязно.

— А здесь?

— А здесь — чисто. Снег и небо.

Итак, в ту ночь (или это был день — не вспомню) он подвёз нас к громадным кострам, разложенным в чистом поле, и тогда из-за костров мы заметили огни окон большого дома.

— Приехали. Станция Дерезай, кто хочет — вылезай!

Мы зашагали к зданию. Вошли в сени.

— Двери закрывай, не в Крыму чай! Тепло упустишь!

Мы плотно прикрыли двери, чтобы тепло не выпускать, и... услышали музыку. Рояль. В зале кабака, а это был и по запаху, и по атмосфере именно кабак, кто-то играл на рояле. Мы долго разматывали шарфы и платки, складывали свои тулупы, а музыка звучала из общего зала, покрывая ровный гул мужских голосов. Пианист играл Шопена, и Володя Маевский, наш аккомпаниатор, произнёс:

— Это играет не любитель.

Нас ввели в накуренный зал со множеством столов и усадили в углу за пригтовленный для нас столик.

Оглядываемся. За столами бородатые, с обветренными лицами мужчины. Есть и женщины, но их мало. Но все — мужчины и женщины — пьют из пивных кружек «полярный ёрш» — смесь шампанского с водкой. Перед некоторыми полкружки одного и полкружки другого напитка. Пьют не спеша. Закусывают жирной свининой и жареной картошкой. У нас у всех, а было нас шестеро артистов и администратор Аба Лайман, при виде этих блюд потекли слюнки. Аба в этих краях появился первый раз, хотя он исколесил с концертами, кажется, всю страну, потянул носом:

— Даю вам голову на отсечение, мои дорогие артисты, что здесь вы: «а» — не отравитесь, и «б» — получите максимум удовольствия. Это говорю вам я, а вы же знаете, какой у меня нос.

Да, нос у Абы большой и чуткий. Аба умел «нюхать». Он был нашим с Людой администратором в сотнях гастрольных выездов, всегда оставался корректен и заботлив. «Брал на лапу» (то есть участвовал в наших гонорарах) по-божески, зато пахал и устраивал наши концерты чуть ли не в детских садах. Аба Лайман знал, что такое чёс. У него имелся один талант — поварской. Аба прекрасно готовил сам и умел ценить чужие кулинарные способности. Аба любил угощать своим варевом и жаревом. Эти варева и жарева были прекрасны. Правда, он мог приготовить прекрасный ужин и не для нас, потому что Аба был мужчиной нетрадиционной ориентации и говорил, что хорошим блюдом он оприходует лю-бого.

Случались осечки. Гостиничные знакомые мужчины нашего администратора, соблазнённые перспективой ужина на халяву, почему-то потом не хотели быть соблазнёнными далее, и тогда Абу били, а мы спасали нашего кормильца, пряча его в комнатах, где жили женщины.

— Что будем заказывать? — Официант наклонился над нами.

— Всё! Всё, что едят они!

— Шесть порций?

— Но таких, как у них! То есть больших!

— Меньших не держим.

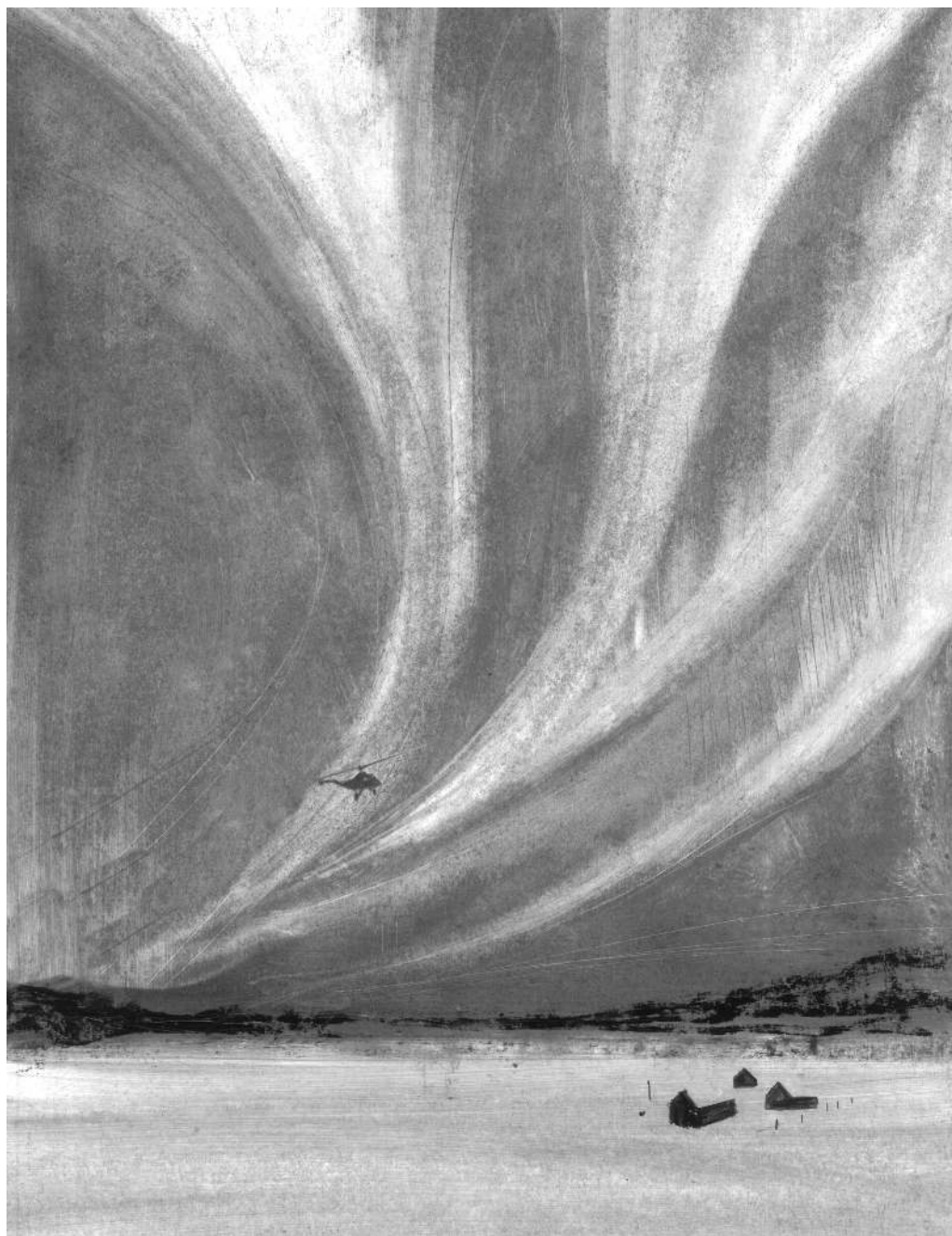
— Будьсделано! Что будем пить?

— Водку и, пожалуй, как у них... шампанское.

— Будьсделано!

И мы уже слышим его команду повару из другого угла зала:

— Вась, шесть «стандартов»!



Ого, как мы ели! Мы ели и пили, пили и ели, как дикие львы после периода засухи в сафари. Тарелки после нас мыть не нужно — вылизанные, они блестели. И мы уже выпили по первой кружке «стандарта», ерша водки и шампанского, и закурили по первой сигарете. Кайф!

Официант:

— Что ещё? У нас есть рыба.

— Рыба?

Мы заказали рыбу, а заодно спросили у официанта: что за публика и как она добралась сюда в эту ночь?

— У нас это — день, — сказал официант. — А публика — бичи[1] со сплава.

Бичи выглядели миролюбиво и расслаблено. Никакого русского ресторанным хамства в отношении музыканта. Ему усердно аплодировали.

Пианист, завершив мелодию Шопена, сделал паузу и, учтиво спросив разрешения, подсел к нашему столу. Он продолжил рассказ официанта:

— Бичи народ добрый. Летом они на Печоре лес гонят, тысячи гребут, а зимой пропивают. Ждут лета и первого леса. Ведь к маю как понаедет сюда половина Заполярья, все побегут к нарядчикам — проситься на лесоплав. Тут же деньги лопатами гребут на сплаве... И, если не закатает тебя плавунами, если доживёшь до осени, в сентябре будешь богатым человеком. А к маю — снова нищий и весь в долгах. Заведующий этим заведением, он, по сути, хозяин, им всем даёт кредит до весны...

— А вы?

— Я не бич, к сожалению... Годы — не те, да и силёнок нет... руки — не те...

Он показал свои, как мне показалось, ухоженные и с длинными и чистыми ногтями тонкие пальцы.

— Я слышал, что вы из Ленинграда? Земляки, значит...

— ?

И вот течёт рассказ об аресте по 58-й статье. О пересылке и о клубе в зоне, о бараках и блатных, а ещё и о начальнике — тот любил слушать музыку один и заставлял его по три часа кряду играть в клубе на расстроенном пианино. Это была мука для него.

— Понимаете, у меня — абсолютный слух, а пианино в зоне расстроено, его с революции никто не настраивал. А соседи по нарам завидовали, что меня вызывают играть, а их ведут на лесоповал. Но выжил... Потом — амнистия пятьдесят третьего, «Бериевская амнистия», и с тех пор я живу здесь, на Печоре...

И с какой-то даже гордостью:

— А я стал приличным настройщиком, один на весь край! Инструментов здесь много, вот и езжу по всему краю — настраиваю. Тут холода. Инструменты тяжело переживают здешний климат. Как, впрочем, и я. Мне бы надо уехать...

— А в Ленинград не едете — почему?

— Мне туда некуда ехать...

— Семья, дети?

Он отрицательно качает головой. Потом снова садится за пианино. У него свой рабочий график в этом кабаке на краю земли. И в паузу снова — к нам.

— Здесь я вот уже второй десяток лет. Я прижился и могу пить кружками шампанское наполовину со спиртом. И не пьянею — такие холода у нас, знаете... Меня зовут со всех сторон, я — на разрыв... Один настройщик на весь край. А могло бы и не быть у них настройщика, не посади меня Ленинградское управление НКВД...

И ни с того ни сего, между глотками адской смеси шампанского и спирта — история его посадки.

Он работал в каком-то ленинградском театре. Заведовал музыкальной частью. Его жена влюбилась в молодого режиссёра и решила уйти от него. Уйти — уйдёшь, а как делить жилплощадь? И вот (из-за этой самой жилплощади) жена наступала на мужа. Ему дали по 58-й статье «на полную катушку».

— Был бы человек — статья найдётся. Я получил срок. Потом — ещё. Жизнь сломалась, как смычок... А вы, когда будете в Ленинграде, то передайте ей привет...

И назвал имя хорошо знакомой мне заслуженной артистки К.

Вернувшись в Ленинград, в Доме искусств я как-то повстречал К. и передал ей привет от бывшего супруга. Она сказала:

— Спасибо за привет, как это мило...

И — всё.

* * *

Пройдёт почти сорок лет. В Петербургской филармонии в ложе мы оказались рядом с немолодым полным мужчиной.

— Здравствуйте, дорогие Люда и Юля!

Я вглядываюсь в лицо.

— Не холодно ли?

— Мы... простите... разве мы с вами знакомы?

— Мы с вами сморожены в один кусок льда, — говорит он улыбаясь.

И я вспоминаю:

— Володя! Маевский!

Это был он — тот самый Володя, который ездил с нами по Заполярью. Был прекрасным партнёром и отличным попутчиком. С ним мы делились глотком водки, и ещё он умудрялся во время моего сольного выступления подбросить мне перед паузой, которую заполнял он своим сольным номером, кусочек шоколада.

— Где вы, что вы, Володя?

— В Лапландии.

— Где-е?

— В Лапландии. Преподаю в тамошней консерватории. Вот моя визитная карточка. Надумаете — звоните, встречу и приму.

— Володя, но разве можно жить постоянно в вечной мерзлоте?

— Во-первых, я там не один живу. Там даже консерватория есть. А во-вторых, люди там... ну, такие же, как у нас на Воркуте... Помните, они нам говорили: «У вас там, в России, нет человечности». То же самое говорят лапландцы — финны и норвежцы: «У вас там, на Юге, в Европе мало человечности».

— Неужели надо промёрзнуть до скелета, чтобы ощутить человечность? — спросил я.

— А вы приезжайте, Юля, вместе с Людой к нам. Вы увидите божественную природу и настоящих людей. Хомо сапиенс. Сапиенс? Да. Но, всё-таки, в отличие от большинства двуногих, — чистое хомо! Люди...

[1] Аббревиатура от: бывший интеллигентный человек. Используется в значении — бездомный, бродяга (слэнг).